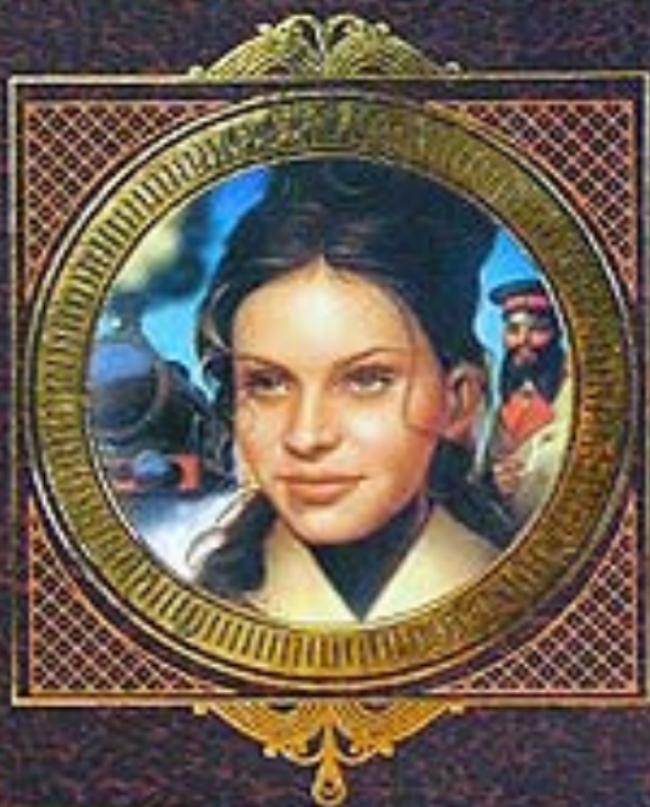


РУССКАЯ КЛАССИКА

Иван

БУШИН

Леткое дыхание



Легкое дыхание //Эксмо, М., 2001

ISBN: 5-04-001797-9

FB2: "shum29 ", 23.11.2008, version 1.1

UUID: 9d441266-0ac5-102c-96f3-af3a14b75ca4

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Алексеевич Бунин

Белая лошадь
(Легкое дыхание)

Содержание

#1	0005
Комментарии	0039

Иван Алексеевич Бунин
БЕЛАЯ ЛОШАДЬ

Пошевеливая вожжами, землемер рассеянно слушал ладный топот копыт по гладкой августовской дороге.

Еще светло было, и дорога, убежавшая на восток, казалась фиолетовой.

Землемер смотрел вдаль, где поля замыкались линией чугулки, курил и приятно пьянел от несвязных певучих мыслей.

Уже по-осеннему пусто и сиротливо было в полях. Сиротливо дремали на кочках кроткие хохлатые жаворонки. Вяло и терпко пахло картофельной ботвой, горько тянуло откуда-то дымком... И землемер с певучей грустью смотрел на сероватые поля, над которыми уже реял чуть серебристый и, как всегда в засуху, рассеянный лунный свет.

«Любопытно, однако, знать, — подумал он, — что это со мною сегодня? Чего это я так разболтался и болезненно развеселился у Стойкого? Положим, не был дома уже две недели, устал как собака, дел переделал кучу... Может быть, от водки? Но много ли было выпито? Сущий вздор, две-три рюмки... Что же в таком случае?»

Лошади стали: шлагбаум на переезде через

линию был опущен, — нужно было слезать и стучать в будку.

Спокойный, бесцветный свет запада еще отражался в окне будки, и будка показалась землемеру необитаемой, почти страшной с этим тусклым блеском стекол и тишиной вокруг.

«Переезжать ли?» — подумал он.

Можно было переехать тут и держать путь на Егорьево, на Каменку... Можно и возле следующей будки: тогда дорога пойдет по опушке Дубровки, а потом по глухим лугам на Ястребиный Колодец...

И землемер остановился в нерешительности.

Но послышался ровный, медленный скрип телеги. И, взглянув направо, землемер увидел в легком лунном сиянии большую белую лошадь, — старую, седловатую, в гречке, с отвислыми губами. Череп ее был огромен; пук соломы, засунутый под узду, дико торчал возле правого полуприкрытого глаза.

— Куды прешь! — крикнул землемер, захватываясь кнутовищем.

Но лошадь и ухом не повела. Звонко хрипя

от запала, она прошла возле самого его плеча, а за нею показалась скрипучая телега, пахнущая дегтем и рогожей. Лохматый рыжий мужик, в распоясанной красной рубахе, лежал в телеге вниз лицом.

— Эй, дядя! — шутливо крикнул землемер дрогнувшим голосом. — Ай помер?

Но мужик не поднял головы, не отозвался на крик.

И землемер, уже не раздумывая, ударил правой вожжей. Тележка чуть не перевернулась от крутого поворота и шибко покатила возле линии, за которой неясно серебрилось над полями лунное сияние.

По-прежнему на душе было и хорошо, и грустно, и тревожно... Все благополучно, все слава богу, но чего-то недостает... людей, может быть, жилья, приятеля... Хотелось петь, рассказывать свою жизнь... Спросить кого-нибудь: что же, наконец, будет на том свете что-нибудь или нет? Райские яблочки и черти в неугасимом пламени, конечно, вздор... Но ведь вздор и полное исчезновение. Зачем родился? Зачем рос, любил, страдал, восхищался? Зачем так жадно думал о Боге, о смерти, о

жизни?

— Зачем, позвольте вас спросить? — сказал землемер вслух.

Существовать на том свете и в теперешнем виде он, конечно, не будет. Ибо, если он будет существовать, значит, и эти лошади будут существовать... и мириады мириад всех прочих лошадей, зверей, птиц, жучков, несметных мошек... Но и бесследно исчезнуть он не может. Он этому никогда не верил. Истомлен заботами, работой, частыми припадками удушья, а жить, сохранить себя хочет жадно. И поминутно трепещет за свою жизнь, во всем чувствует тайну, враждебность... Лунный свет в пустынных полях, тишина, темный камень вдали, коренник, который вдруг насторожит уши, — все страшно. Днем, когда вспоминаешь, просто, незначительно, а ночью — страшно...

«Это как васильки, — подумал землемер. — Днем синие, а погляди вечером, при лампе, — лиловые».

— Пи-пи-пи! — тонко и хищно зазвучало вдруг где-то вверху, в рассеянном дивном свете.

Землемер оглянулся, увидел поле, телеграфные столбы, тусклый блеск, бегущий навстречу ему по рельсам, — и на душе стало еще тревожнее. Этот писк, писк кобчика или совки, затерявшийся в лунном свете, напомнил ему, что безмолвный, мертвый вечер кончился, что в полях начинается таинственная ночная жизнь. Кроткие хохлатые жаворонки, проводящие свои последние дни в осиротевшей степи, теперь спят. Но зато проснулись и всю ночь будут с жалким писком голода гоняться друг за другом все эти мелкие и крупные хищники, дремавшие днем на телеграфных проводах, таившиеся во рвах и на лесных опушках. Позевывая, выползла из своей норы в каменистом овраге лисица, вышла на лунный свет и осторожно потянула по скату, поводя пушистым хвостом... Зеленым фосфором вспыхнули волчьи глаза в дубовом кустарнике... И, представив себе страшную красоту этих глаз, землемер почувствовал приступ жуткого восторга.

Да, как жалко тьякает лисица, если она худая, тоща, выгнана из своей норы более сильным зверем, каким-нибудь когтистым барсу-

ком! Как плаксиво и зло скулит соколок голодный! И как томно потягивается и оскалывается лисица сытая, с густой лоснящейся шкурой! Каким звонким и дерзким смехом заливается этот тонкоголосый соколок, выбивши добычу у другого, слабого! И при мысли обо всем этом землемер содрогнулся от сладострастной жути.

Опять лошади стали перед будкой на переезде через рельсы, и опять загородила дорогу перекладина шлагбаума.

Но на дворе уже ночь, бледная, сухая, лунная, и будка не похожа на первую. Эта, живая, приветливая, манит к себе внутрь, где горит лампа и топится печь: видна яркая пасть печи, пляшущая большими языками красно-оранжевого пламени.

— Эй, добрые люди! — слабо крикнул землемер, обрадованный жильем.

И тотчас же ожесточенно, захлебываясь, залилась возле лошадей лохматая шавка, и босая девочка скромненько и деловито подошла к шлагбауму. Загремела цепь, и огромный журавль, медленно и плавно вырастая, потянулся головой к небу.

— Ты будочникова, девочка? — спросил землемер ласково.

— Будочникова, — ответила девочка и, наклонив головку и мелко перебирая босыми ножками, пошла поднимать вторую перекладину шлагбаума, за которой лунный свет и пустынное жнивье сливались во что-то легкое, светлое и серебристое, как далекое море.

— А что это у вас печь топится?

— Мать воду греет.

— Ай хлебы ставит?

— Нет, у нас малый помер.

Землемер широко раскрыл глаза.

— Как помер? — сказал он тревожно. — Когда?

— Сейчас только.

— А велик малый-то был?

— Семей месяц пошел.

Землемер облегченно вздохнул.

— Ну, ничего! — сказал он. — Мать еще родит.

— Да нам его не жалко, — просто ответила девочка. — У нас их пятеро. Да еще одного недавно зарезало.

— Машиной?

— Машиной. Мать валяла пироги, а он выполз из будки и заснул... Нас судили за него, из могилы его откапывали, думали, что мы его нарочно положили.

Землемер засмеялся:

— Ах ты, злодейка этакая! Ну, прощай, спасибо за хлопоты!

— Час добрый, — сдержанно ответила девочка.

И лошади с грохотом понесли тележку по деревянной настилке к тому светлому и легкому, что было впереди, взяли немного вправо, и опять колеса, сорвавшись с настилки, с мягким шорохом покатались по сухой ровной дороге.

И опять мысли надолго затерялись в однообразно-ладном стуке копыт, который бесстрастно слушало только бледное и все выше поднимавшееся лицо луны...

«Просто все это у меня к перемене погоды», — подумал землемер, подбадривая себя и продолжая думать о причинах своего беспокойства.

Но теперь, когда осталось сзади последнее жилье, бодрые слова уже и совсем не помога-

ли. Глаза жадно всматривались в даль... Что это на том дальнем косогоре, за лощиной, в светлой дымке? Что-то длинное, темное, зубчатое... Стена, остатки жилья? Нет, просто забытая в поле копна... За ней опять косогор и опять лужок, выходящий на голую долину, серебристо-туманную под луной... Но что это там темнеет, двигается? Волк?

Землемер вставил два пальца в рот, резко свистнул и натянул вожжи. Постромки пристяжной обвисли, коренник насторожил уши и пошел тише... Едко и приятно запахло лошадиным потом... Что-то темное, двигавшееся на косогоре, блестящем от озими, подняло голову. Стало страшно...

Но прошло несколько минут — и по чему-то тупому, что было в приближающейся фигуре, землемер узнал, что это теленок... Верно, пегий, с белыми ресницами, глупый...

Есть что-то глухое, дикое в этих осенних беспризорных скитаниях телят. По целым неделям бродят они в полях, дичают, приобщаются к таинственной жизни зверей и хищных птиц.

«А свиньи! — подумал землемер. — Чер-

ные упрямые борова, с туго завернутыми винтами хвостиков! Те совсем отбиваются осенью от дому, бог знает куда уходят по лугам и косогорам... Роют под кустами по пригоркам, что-то выкапывают, чавкают и прут дальше, повиливая крепкой тушей...»

Мелькала серебристая полынь вдоль дороги, проходили темные равнины пашен, полосы радужно-зеленых озимей, тускло поблескивали подковы пристяжной, женственно отвернувшей голову от коренника... Гордо нес голову сильный коренник, шедший дробной рысью... Землемеру хотелось курить, надоело сидеть... Волнуясь все более при мысли о том сильном, беспощадном, таинственном, что окружало его со всех сторон и точно вызывало на состязание, он все беспокойнее ждал чего-то, а внутренний голос все настойчивее говорил, что ожидания не напрасны. И, как бы подтверждая это, коренник вдруг фыркнул. Землемер вздрогнул и увидал, что он идет с чутко и строго поднятыми ушами, с какою-то преувеличенной бодростью, почти с наглостью.

Озноб пошел по всему телу землемера.

Чтобы поскорее увидеть то, что должно увидеть, он откинулся влево и пристально взглянул вперед. Впереди то же, что и было: пустое поле и лунное сияние. Но поле это идет слегка под изволок, дальше опять повышается — и замыкается темной, высокой и такой дивной в лунном свете стеной Дубровки.

Вот она приближается, темнеет, и уже хорошо видна огромная тень, падающая от ее стены на поле... Доносится легкая лесная свежесть вместе с сухим и душистым теплом дуба... А вот роща, и совсем близко — и тень стала резче, лунный свет ярче, роща под луною чернее, выше, величавее... Еще минута — и тележка уже в тени, катится по гладкой дороге вдоль опушки... И далеко видны светлые поляны среди живописных старых дубов в сказочно прекрасной глубине рощи.

«Ах, хорошо!» — с жутким восхищением хотел сказать землемер — и вдруг замер с широко открытыми глазами.

Из глубины рощи легко и быстро, прямо на него, неслась большая белая лошадь.

«Неужели та самая, что с звонким хрипом прошла давеча возле будки?»

Сладострастный трепет ужаса еще раз ключим холодом прошел от корней волос по всему телу, — и землемер крепко накрепк зрение, чтобы получше разглядеть шибко летевшую к нему лошадь.

Но уже ясно было, что не та.

Медленно тащила скрипучую телегу белая кобыла, встретившаяся возле будки. Годы, тяжкая работа, неволя сделали ее страшной, костлявой, тупой, тяжелой. Эта же шла бодро, чисто, едва касаясь земли. И так гордо и грациозно несла свою голову, что сразу было видно, что она молода, сильна, ни одного дня не знала упряжи...

Но в этом-то и был ужас. И ошеломленный землемер с размаху рванул вожжи.

Коренник высоко задрал морду и заплясал, пристяжная со всего разбега осела на задние ноги. Но тут белая лошадь, как перышко, перенеслась через канаву возле опушки и вся выскочила на ее высокий вал. И, увидав ее, коренник дико всхрапнул, пристяжная так шарахнулась к оглобле, что она треснула, — и тележка вихрем, вприпрыжку понеслась по пашне. Землемер, не помня себя, вскочил на

ноги, в два взмаха замотал на руки вожжи и, откинувшись назад, изо всей силы рванул к себе левую вожжу. И коренник, мотая головою от удил, раздиравших ему челюсти, понес обратно на дорогу.

Белая лошадь, выскочившая на вал, казалась литой из серебра. Как только колеса тележки стукнулись об дорогу, она тотчас же спрыгнула с вала, дала тележке мелькнуть мимо себя, — землемер близко видел ее прекрасные блестящие человечесьи глаза, — и весело понеслась за ней.

— Грабят! — крикнул землемер альтам и бросил вожжи.

Точно сорвало последние дубки рощи — и опять в глаза грянуло широкое пустое поле и неясный лунный свет над ним. Землемер обернулся и увидел, что и лошадь уже в поле — несется за тележкой по серой дороге. Только побледнела немного, как побледнел в поле и самый лунный свет.

— С нами крестная сила! — пробормотал землемер, с трудом переводя свистящее дыхание, опять натягивая вожжи, и опять оглянулся.

Увы, и белая лошадь пошла тише!

«Ну, притворюсь, что мне все равно», — решил землемер отчаянно и погнал пару под изволок, в бесконечный Ястребиный Луг.

Мелкая безымянная речка поблескивала и бежала по лугу, — настолько мелкая и прозрачная, что можно было считать под водой белые камни днища. Как чешуя рыбы, поблескивала она под луною, и на диво печален и прекрасен был под луной каменистый и пустынный луг. Но любоваться было не время. Нужно было зорко править, чтобы не вылететь на выбоинах спуска, нужно было ловко повернуть на полной рыси вправо, а потом перескочить вброд. Но лошади и сами понимали дело — цепко пронеслась пристяжная по узкой тропке косогора, как раз вовремя вильнул коренник и уверенно кинулся в речку... Колеса с шумом закружились в серебре и алмазах, глухо застучали по размытым белым камням...

«Глянуть ай нет? — подумал землемер. — Нет, не надо!»

И тотчас же оглянулся — и чуть не вскрикнул: белая лошадь опять была в двух шагах от

него, над речкой, на самом краю оставшегося сзади берега.

«Пропал я!» — с радостным отчаянием подумал землемер и, закрыв глаза, опять ударил по кореннику вожжами.

И через минуту грохот колес по речным камням сразу оборвался — и, блестя мокрыми шинами, ровно покатались они по мелкому щебню побережья в смутную, слегка сизую даль бесконечного луга. Не выдержав, землемер опять взглянул назад — и, к великому удивлению своему, белой лошади уже не увидел. Глянул влево, глянул вправо, на прозрачную воду, бегущую по белым камням, потом опять назад... Только широкий луг, весь, как светлым дымом, напоенный лунным сиянием! Но зато сзади, на дрогах тележки, скрестив длинные, тонкие ноги в разбитых лаптях и повернув к землемеру беззубое лицо, наполовину освещенное луною, сидит и смотрит круглыми глазами нищенка. И землемер, увидав ее, лякнул зубами и сипло засмеялся бессмысленным смехом.

— Хороша! — сказал он. — Красива! Ты смерть, что ли?

Нищенка молчала.

— Молчишь? — сказал землемер. — Значит, правда?

Нищенка молчала и смотрела ему в лицо неподвижными глазами.

— Нашла с кем шутки шутить! — сказал землемер горько. — Или мало тебе, что ты и так всю жизнь издевалась надо мной?

И вдруг почувствовал такую острую боль горя и обиды, что, не помня себя, взмахнул кнутовищем. Сладкие слезы злобы сдавили ему горло, но, как только он взмахнул кнутовищем, старуха точно растаяла в воздухе: только опять зазвенел где-то в небе тонкий, радостно-хищный смех какой-то ночной птицы:

— Пи-пи-пи-пи!

И, замирая, затерялся вдали.

Землемер пришел в себя и медленно перекрестился.

...В Долгое землемер приехал перед рассветом.

Страшное и прекрасное привидение белой лошади исчезло возле подъема на хохлацкие Выселки. И тотчас же после этого он бессиль-

но опустил вожжи. Рубашка на нем была мокрая, сердце билось. Крестясь, он снял картуз, вытер рукавом потный лоб и, почувствовав озноб, накинул на плечи чуйку.

— Что за чушь! — сказал он изумленно и посмотрел в луг.

Но в лугу было пусто.

Он посмотрел с горы в поля за лугом, к юго-востоку — и что-то грозное глянуло ему в глаза. А, это поднимается зимнее небо! Уже встают яркие полунощные созвездия: треугольник из алмазов Тельца с рубином Альдебарана посередине, страшное Всевидящее Око...

Он закурил с жадностью, с упоением. Потом почувствовал такую жажду сна, какая бывает только в детстве, после долгого летнего дня.

— Спать, спать! — сказал он, закрывая глаза и опуская голову.

Лошади шли шагом, темные, едко пахнущие потными хомутами и разгоряченным телом. Землемер смотрел на сбитую набок шлею коренника, хотел поправить кнутовищем — и не мог.

— Спать, спать! — сумрачно говорил он, закрывая глаза. — Я, кажется, с ума схожу...

И тотчас же начинало казаться, что тележка бежит под гору, и от этого замирало сердце, путались мысли...

Вот, чувствуется, случилось что-то. Он слабо открывает глаза и видит, что тележка стоит — и коренник с шумом делает то, для чего остановился...

Луна поднялась высоко-высоко, светлая, бледная ночь стала еще бледнее, и далеко вокруг расстилается равнина, покрытая бледной пылью... Степь, поздно, тишина, свежесть...

И опять коренник трогает с места, и опять все путается. Кажется, что по земле, по пыли светлой мглой бежит туман, а в тумане — белая легкая лошадь... Землемер открывает глаза — и видит, что коренник опять стоит: большой дымчатый вол лежит посреди глинистой улицы, половина которой покрыта косяй зубчатой тенью, а кругом — хаты, хохлацкие Выселки. Место ровное, голое, улица широкая, а направо и налево бледно-голубые мазанки с квадратными глиняными трубами,

такие молчаливые и грустные в этот поздний час долгой лунной ночи. Ни души и ни звука. Только осторожно и прерывисто тюкают сверчки в бледно-голубых стенах с темными окошечками, слюдой поблескивающими против луны...

— Ах, дурак, дурак! — с ласковой укоризной говорит землемер кореннику и легонько ударяет его вожжой, объезжая важно дремлющего дымчатого вола с огромными рогами.

А в третий раз он открывает глаза уже в Долгом, упершись оглоблями в ворота своего поместья. Похоже на Выселки — только улица еще шире и длиннее, а хаты тонут в палисадниках. Набежал туман на луну, стало совсем прохладно, за воротами хрипло и бодро кричит басом его любимый красно-золотой петух. Землемер слезает с тележки, расправляет ноги с родственным чувством к своему поместью, с легкой тревогой — благополучно ли в доме? — и чуть слышно стучит кнутовищем в кухню, в крайнее окно длинного кирпичного дома под железной крышей, почти невидного за высокими мальвами.

И через минуту щелкает задвижка, и на

крыльце, ежась и зевая, появляется солдатка Василиса, босая, в короткой юбке, вся теплая и томная со сна.

— Здоровы? — спрашивает землемер, отводя глаза от ее голых полных плеч.

— Слава богу, живы, здоровы, — улыбаясь и почесывая под мышками, говорит Василиса.

— Ну, возьми лошадей, вели Кузьке распрячь...

Дома все было благополучно, жизнь текла обычно, и, как всегда по воскресным дням, утром из зала запахло ладаном. Землемер, спавший не раздеваясь, плеснул на лицо водою из умывальника и вышел в зал. В зале было солнечно. На столе, в простенке между окнами, выходящими в палисадник, кипел золотой самовар. Кусочек ладана, брошенный Марьей Яковлевной в его трубу — для праздника, — распространял сладкий церковный запах. Марья Яковлевна, небольшая женщина лет сорока, похожая лицом на Фонвизина, мыла чашки. Землемер поздоровался с ней, поговорил о делах...

Новостей было мало: только ссора с Ива-

ном Павловым, который опять приписал в книжке.

— Такой свинья! — воскликнула Марья Яковлевна. — Да покарал Господь! Помнишь его бланжевого быка? Картошкой подавился!

— Издох? — спросил землемер.

— И часу не прожил! — сказала Марья Яковлевна, раздувая ноздри.

Потом взглянула в открытое окно и взволновалась еще больше.

— Ну вот! Полюбуйтесь! — сказала она. — Боже, какие мои дети пошлые! Опять босиком!

Дети были в палисаднике. Толстый Котик, одетый, как девочка, важно ходил среди мальв, переваливаясь на кривых ножках. Десятилетний Павлик, худенький, хорошенький, с черными и всегда гневными глазками, закатив до самого паха штанишки, целился из лука в воробьев. Таня и Оля, белобрысые и некрасивые, с замиранием сердца следили за ним.

Землемер посмотрел в окно, слабо крикнул:

— Здравствуйте, наследники! — и, улыба-

сь, сказал: — При чем же тут пошлость?

— Ну конечно! — воскликнула Марья Яковлевна. — У тебя всё ни при чем! Ты уже привык потакать им!

И, видя, что землемер слушает рассеянно, с изумлением прибавила:

— Да что это ты как блаженный какой?

— Уморился, — сказал землемер и отвел глаза в сторону.

За обедом не хотелось есть и, как среди мух в жаркий день, было томительно сидеть среди густого терпкого запаха картофельного супа с бараниной, среди баловавшихся детей и крика Марьи Яковлевны. «Тоже зал называется!» — думал землемер, с кислой улыбкой оглядывая знакомую комнату, вдруг показавшуюся нестерпимо тесной, и противные украшения на ее стенах: Тамару в гробу, крещение Руси и выцветшие фотографические снимки, на одном из которых был он сам — в солдатской позе, в сюртуке, в белом галстуке, в старомодных штанах с раструбами, — и Марья Яковлевна — в фате, с бессмысленно выпученными глазами. Жадно хотелось пива, и, когда принесли из лавочки холодную бутыл-

ку темного толстого стекла, землемер выпил все почти залпом. Потом вышел за калитку палисадника, на скамейку.

Вечер был ясный, улица, мирная и красивая от белых мазанок и разноцветных мальв, вся розовела против заходящего солнца, блестя стеклами. Стрижи сверлили воздух, кружась над площадью, над куполом деревянной церкви. И, как всегда в хороший вечер, с площади, из окон сидельца винной лавки, неслись резкие, ухабистые басы и альты аристана — звуки краковяка.

Землемер слушал, весь наполняясь этими вызывающими и бьющими по нервам звуками, с болезненным наслаждением вспоминая под краковяк, что белая лошадь была сильна, прекрасна, — и напряженно думал: «Почему дети так любят игру в войну, в охоту и в какие-то далекие поездки?» Потом встал и пошел к хате о. Нифонта, жившего через улицу, напротив.

Загорелый подпасок в старом дворянском картузе гнал по улице кучку темно-лиловых баранов, теснившихся друг на друга, мелко перебиравших ножками и поднимавших зо-

лотисто-розовую пыль. По тропинкам возле палисадников, среди засохшей глинистой грязи, шли бабы с подоткнутыми подолами и с коромыслами на плечах и низко кланялись поповой хате, не глядя на нее и виляя кострецами. А поп, тучный, лысый, сидел на лавочке возле палисадника, одной рукой разбирал большую еотовую бороду, а другой гладил ходившего по его плечу тощего котенка мышиного цвета.

— Здравствуйте, здравствуйте, Юрий Милославский! — благодушно сказал он. — Давненько не были. Небось весь земной шар смарили?

Землемер подсел на лавочку и, принужденно улыбаясь, небрежным тоном рассказал о своем видении — о том, какая «глупейшая» история приключилась с ним в дороге.

Но на о. Нифонта белая лошадь не произвела никакого впечатления.

— Бывает! — сказал он. — То ли еще бывает! Вон мои работники недавно жаловались: как только они в сарай, на боковую, так сейчас же козел за стеной: бя-я! А я и козлов-то сроду не водил... Слышали, как бычок-то под-

ковал Ивана Павлова?

Землемер вспомнил однообразие зимних и летних дней в Долгом, вспомнил сон после обеда, Марью Яковлевну, выходящую после сна к чаю с желтым, смятым лицом, засиженным мухами... И, раздражаясь, сказал:

— А быка жалко, батюшка! Великолепный был бык! Бывало, бежит — земля дрожит... глаза огненной кровью налиты... Не нам чета...

— То есть как не нам чета? — удивленно спросил о. Нифонт, опуская руку, гладившую головастого котенка.

— А так, — резко сказал землемер и почувствовал, что у него похолодели руки. — Сила! Я вот поехал как-то прошлой осенью в город, а в городе зверинец, а в зверинце — лев. Сижу вечером в номере, а стекла так и заливаются! У меня, понимаете, свечка едва коптит, номеришко вонючий, зеркальце на стене от духоты и самоварного пара побелело, а он — как хватит, хватит! Открыл я окно — темь, дождь, все забились в свои жалкие хибарки, а он так и панует над городом! Ах, отец Нифонт, — страстно прибавил землемер, начиная дро-

жать от волнения, — все-таки нет ничего на свете хуже бессилия!

— Ну, это дело другое, — сказал о. Нифонт. — А то я не понял сперва, какую мысль вы хотите провести. Понятно, страшная сила! Пишут, будто лев может хвостом быка убить...

Землемер вдруг ляскнул зубами. Раскрасневшееся солнце только что село за площадью, и все сразу потускнело, поблекло. Неприятный ветер, пыля по площади, добежал до поповой хаты, зашумел в мальвах, и землемер вдруг дернулся и стукнул зубами от холода. Торопливо простившись с о. Нифонтом, он торопливо перешел улицу, торопливо вошел в дом и, не зажигая огня, бросился на постель в своем кабинете — узкой комнате возле зала. В голове, певшей краковяк, вертелась назойливо-мучительная мысль о детской любви к войне, а нывшее тело жадно просило одеял, шуб, полушубков. Перепуганная Марья Яковлевна бегала по темным комнатам, одевала его чем попало, а он видел, что со всех сторон сыплется на него белые лошадиные черепа, заваливают столы, стулья, — и задышался от

духоты, жары под этими черепами... А стекла дрожали от далекого львиного рева... Он вспомнил, однако, что это не рев, а гром, и, открыв глаза, услышал шум ветра за окном, увидел какой-то золотой сполох, озаривший комнату...

— Марья Яковлевна! — крикнул он слабо.

— Лампу заправляю, — откликнулась Марья Яковлевна из зала.

И землемер опять потерял сознание.

Приехавший на другой день к вечеру земский врач, человек с изумленными глазами, в очках, с густой огненной бородой и в парусиновом балахоне, сказал, что у больного воспаление легких.

Через несколько дней, в первый раз придя в сознание, он узнал Марью Яковлевну, понял, что он дома, что на столике возле кровати горит свечка. Но бока были так крепко скованы острыми, нестерпимо режущими при каждом вздохе железными обручами, глазные яблоки так ломило, а дрожащее пламя свечи было окружено таким печальным и большим мутно-радужным шаром, что он поспешил повернуть голову к стене, к ковру, на

котором был изображен очень прямо сидящий турок в тюрбане, в огромных шароварах и с мундштуком кальяна в руке.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — сдерживая слезы и стараясь говорить ровным голосом, спросила Марья Яковлевна.

Но больной не ответил.

Все было так чуждо ему, так скучно, что ответить не хватило силы. А свет дрожал, краснел, турок в тюрбане рос, расплывался, принимал сказочные очертания...

Второй раз сознание держалось дольше. В комнате было темно, Марья Яковлевна похрапывала в кресле, за окном синела лунная ночь. И землемер вспомнил, как много лет тому назад, когда у него было первое воспаление, он вот так же пришел в себя поздней ночью в темной комнате... И всю душу его охватила невыразимая тоска. Как молод он был тогда, как восхитительна была даже болезнь! Он целый год жил тогда дома, выгнанный за курение из реального училища, готовился в землемерное, пропал в поле с ружьем и собакой... В жаркий апрельский день он напился из ледяного хрустального ключа в голем и

веселом весеннем лесу — и слег. Болезнь была тяжелая, по ночам жар доходил до сорока, но что за ночи стояли тогда! Голова пылает, по телу идет острый колючий холод, а лунный свет так дерзко и ярко сквозит в щели ставни, и соловьи наполняют весь сад таким ярким ликованием, что весь мир кажется сновидением... И во всем существе была непоколебимая вера в выздоровление.

Уверенность эта была, впрочем, и теперь. И так оно и случилось. На седьмой день больной уже ел бульон, пил чай и просто, спокойно разговаривал.

Был он желт, слаб, голова и борода у него сильно поседели, — не сдались только одни густые строгие брови, — но это очень шло к нему. Лицо его стало чище, красивее. Марья Яковлевна с радостью рассказывала, как он бредил, какую чепуху он говорил иногда, про какую-то белую лошадь, и землемер улыбался с ласковой снисходительностью к самому себе.

И с такой же улыбкой, с грустным и приятным сознанием своей слабости, вышел он в первый раз после болезни в зал. Казалось, что

уже много лет не видал он знакомых комнат.

Глаза у него стали темнее, больше и смотрели на все удивленно, внимательно. На ногах были мягкие туфли, под пиджаком и рубашкой ласково грел тело лифчик из лисьей шкурки. Никуда не нужно спешить, ни о чем не нужно заботиться, — давно не бывало у него таких отрадных дней! Но он уже твердо знал: это его последняя осень.

В кабинете он снял с полки Библию и развернул книгу Иова. На столе лежали какие-то гвозди, старые планы, рассыпанные патроны папирос... Он прилачился с краю и зачитался.

Потом положил локти на книгу и загляделся на кривую лесовку, росшую на пустыре за окном.

Да, вот был человек непорочный, справедливый, богобоязненный. Был он богат, здоров, счастлив. Но истребил сатана, с изволения Господня, все его имущество, истребил всех чад его и поразил его проказою от подошвы по самое темя. И взял человек черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел на пепел вне селения. И открыл уста свои и страстно проклял день свой. «Погибни, — сказал он, — день, в

который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек! Дыхание мое ослабело; дни мои прошли; думы мои — достояние сердца моего — разбиты; ночью ноют во мне кости мои: ибо летам моим приходит конец, и отхожу я в путь невозвратный. Скажу Богу: за что ты со мною борешься? За что гонишься за мною, как лев, и нападаешь на меня, и чудным являешься во сне? Но не ответит мне Бог!»

Было в простоте этих слов, в образе безумно-вдохновенного прокаженного, сидящего в пустыне за селением, скребущего черепком гнойные раны свои и проклинаящего жизнь от колыбели до гроба, что-то столь древнее и в то же время столь близкое во все времена каждому человеческому сердцу, что прежде землемер был не в силах читать этих слов. Но теперь он прочел их спокойно и медленно, чувствуя себя почти равным Иову в безнадежности. Потом остановился на словах Сафара:

«Можешь ли ты постигнуть вседержителя? Он превыше небес: что можешь сделать? Глубже преисподней: что можешь узнать? Но

пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку...»

«Вот и ответ дикому осленку!» — подумал землемер, глядя в сумерки.

— Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей! — вслух сказал он, и брови у него страдальчески сморщились и задрожали.

Он представил себе свое детство, младенчество, — и почувствовал невыразимую жалость к этому бедному маленькому «осленку», неизвестно зачем пришедшему в мир и осмелившемуся мудрствовать. Что ответит ему Бог «в шуме бури»? Он только напомним безумцу его ничтожество, напомним, что пути Творца неисповедимы, грозны, радостны, и развернет бездну величия своего, скажет только одно: «Я — Сила и Беспощадность». И ужаснет великой красотой проявления этой силы на земле, где от века идет кровавое состязание за каждый глоток воздуха и где беспомощней и несчастней всех — человек.

«Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Препояшь ныне чресла свои, как муж: я буду спрашивать, а ты отвечай мне...»

— О, какая красота! — сказал землемер, и горячие слезы потекли из-под его ресниц.

«Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах? Они изгибаются, рождая детей своих, а дети их приходят в силу, растут в поле и не возвращаются к ним. Знаешь ли ты, кто разрешил узы онагру, которому степь я назначил домом, а солончаки жилищем? Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Ты ли дал перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои на песке и забывает, что полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим...»

— Все сила, сила! — воскликнул землемер, мысленно видя перед собой белую лошадь, с ее дико-веселым, вызывающим и беспощадным взглядом.

«Храпение ноздрей ее — ужас, — с безумным восторгом вспомнил он стихи о лошади в книге Иова. — Роет ночью землю и восхищается силою. В порыве ярости глотает землю и не может устоять при звуке трубы. При звуке трубы издает голос: „Гу! Гу!“ — и изда-лека чует битву, громкие голоса вождей и

крик...»

— А верх путей его! — дерзко и громко, точно в бреду, сказал землемер. — Верх путей его — бык Ивана Павлова... бегемот... левиафан...

«Сила в чреслах бегемота и крепость в мускулах его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это — верх путей Божьих...»

Но тут из прихожей послышались голоса вернувшихся из школы детей, потом чьи-то тяжелые шаги, и в комнату быстро вошла взволнованная, вся пахнувшая осенней свежестью Марья Яковлевна.

— Полюбуйтесь! — воскликнула она. — Иван Павлов капусту прислал! Ну, прямо смотреть не на что! Кочерыжки одни!

Землемер сморгнул слезы, нежно и жалко улыбнулся и отвернулся к окну...

1907—1929

Комментарии

Альманах «Шиповник», кн. 3, СПб., 1908, под заглавием «Астма». В эмиграции Бунин после переработки и сильного сокращения напечатал первую часть рассказа в газете «Возрождение», Париж, 1927, № 639, 3 марта, под заглавием «Белая лошадь», с подзаголовком: «Рассказ»; вторую часть — в газете «Последние новости», Париж, 1929, № 3122, 9 октября, снова под заглавием «Белая лошадь», но с подзаголовком: «Из повести». Печатается по двум последним публикациям.

Точных данных о начале и завершении работы над рассказом нет. Однако есть основание предполагать, что задуман он и писался задолго до публикации. Так, Горький в письме к Бунину около 25 ноября 1900 г. спрашивал автора: «Где „Белая смерть“, Иван Алексеевич, — ее надо в „Жизнь“ дать непременно!» (Горьковские чтения, М., 1961, с. 16). Редакция журнала «Правда» в январском номере за 1905 г. сообщала, что с первых книг этого года начнется печатание рассказа Ивана Бунина «Белая смерть». Редактор журнала В. Кожев-

ников в письме от 5 августа 1905 г. напоминает писателю о необходимости скорее сдать «Белую смерть» (ЦГАЛИ). Под этим названием рассказ не появлялся. Возможно, об «Астме» Бунин писал Н. Д. Телешову 7 июля 1907 г.: «... заеду к тебе на часок и прочту новый рассказ, — целых два или 2½ листа» (ИМЛИ). Других произведений такого объема Бунин в это время не писал.

Большинство журналов обошло рассказ молчанием. Б. Садовской напечатал рецензию на книгу «Рассказы» (СПб., 1909), куда вошла «Астма», и упрекнул Бунина за «недостаток самостоятельности в прозе», хотя, как отмечал рецензент, она «с избытком выкупается его художественной добросовестностью» (журн. «Весы», СПб., 1909, № 5, май). Рецензент «Русского богатства» считал, что «писатель потерпел фиаско, когда взялся за крупное произведение, в центре которого поставлен... психологический образ... Ничего не остается от длинного повествования о том, как томила кошмарами злая болезнь умирающего землемера. Не представляешь себе фигуры героя, не проникаешься ни его ощущениями, ни обста-

новкой и — что хуже всего — совершенно не схватываешь намерений автора» (1909, № 10, октябрь). Ко, по свидетельству брата писателя, среди произведений, читанных Буниным на «Средах», в Москве «наибольший успех выпал на долю „Астмы“ и поэмы „Джордано Бруно“» (ЦГАЛИ).

В дореволюционных изданиях рассказ заканчивался словами: «Имею честь поздравить с новопреставленным». В. Н. Муромцева-Бунина указывает, откуда пришла в рассказ эта фраза. «После панихиды <по случаю смерти А. И. Пущешникова. — Ред.> к вдове стали подходить знакомые и выражать ей сочувствие. Подошел и одни из лавочников в Глотова со словами: „Позвольте вас поздравить с новопреставленным...“ И несмотря на ужас и горе, Ваня это поздравление запомнил и через двадцать один год в рассказе „Астма“ приводит его» («Жизнь Бунина», с. 38).

При переработке рассказа в эмиграции писатель не изменил его идейно-образной структуры. Исправления шли в основном по линии сокращения: были сняты первые и последние (восьмая и девятая) главы ранней ре-

дакции. В авторской речи Бунин освобождался от многих подробностей. Так, например, в *Полном собрании сочинений* после слов «горько тянуло откуда-то дымком» было:

«Это мальчишки стерегут в полях лошадей и от скуки жгут сухую полынь, суволоку... А по дороге попадались корки мелких воронежских арбузов и напоминали о том, что скоро большая осенняя ярмарка в городе и что надо ехать продавать пристяжную, покупать капусту, поправлять зимние рамы — и начинать новый скучный год».

После слов «была в двух шагах от него» следовало:

«Она как раз по следу тележки вбежала в воду — и почему-то остановилась. Остановилась и, балуясь, била воду тонкой ногой, поднимая белоснежную пену. Бледное, блестящее лицо луны плавало возле тележки слева, а сзади стояла красивая и страшная лошадь с темными человеческими глазами».